

# 2020. берлин

В Москву — потоптаться на снегу и в книжных магазинах — я успел под занавес. До выявления в Европе COVID-19. Старенький Сашка Тюренков, он родился на пять месяцев раньше меня, я теперь всегда останавливаюсь у него, счастливо улыбается. Я растлеваю пенсионера, таская его по центральным кабакам. При мне, полвека назад, задний вход в ЦДЛ был с улицы большевика Воровского, вовремя убитого в Лозанне, а то убили бы свои, наискосок жил Артем, теперь в ресторан ЦДЛ ходят с того же высокого крыльца, как прежде, но с получившей назад свое славное цеховое имя Поварской, как при Олсуфьевых.

ЦДЛ полон призраков. Призрак Машки колышется в воздухе возле Каминного зала, обшитого мореным дубом. Как окажешься в ресторанном вестибюле, направо. Тут был партком. Когда Горбачев затянул перестройку, Машка решила, что сможет повидать сына в Америке. Коллеги в парткоме, попеняв ей, что она воспитала предателя родины (хотя, если без дураков, это родина предала меня, став в том самом Октябре тем, чем стала), в характеристике отказали. Она расплакалась. От унижения. Не в парткоме, здесь она укрепилась, а когда вышла в коридор.

Спросить уже не с кого.

В моем письменном столе хранится пожелтевшая анкета УВИР ГУВД, заполненная Машкой по всем правилам, на

обороте последнего листа донос на себя: «Печатала сама на своей машинке Эрика №5994334». Подпись. Иначе анкету не принимали. Органы формировали всесоюзную базу машинок наподобие базы отпечатков пальцев. В рамках борьбы с самиздатом. План-перехват. Казарменной рыгаловкой называл Москву эмигрант Артем, мой закадычный дружок. Остался бы — спился, любил повторять он. Судьбе паспорт не помеха, Артем спился в Нью-Йорке. Москву я посетил в середине января, она не вызывает у меня никаких чувств, ни хороших, ни плохих, чужой город, но всякий раз я улетаю с облегчением, положив себе: никогда больше!

Кажется, еще вчера Восток подпирал Запад, немецкие автобаны были оборудованы шахтами со взрывчаткой на случай вторжения с Востока танковых дивизий. Теперь Юг подпирает Север, точит жарким дыханием ледники в Альпах, а из Китая, как полагают, выпорхнул коронавирус. Перед сном я думал о Тюренкове и его взрослых сыновьях, noctью в Берлине шел январский проливной дождь, мне снилась столица РФ, кто-то во сне сказал: *накопительная часть пенсии*, я проснулся от безумия формулировки. Как зовут другую, спросил Юлиус Фучик девушку в СССР, у которой по предвоенной моде на левом воротнике свитера было вышито, скажем, «Ира».

8 февраля мы отметили десятилетие внучки. Школа водит ее вокруг райского Древа познания. «Бабушка, у девочек пися, а у мальчиков-то пэнис!» Так она произносит. Надо сказать, в Америке квашня всходит шустрее. В том же возрасте Катя, придя из школы, с порога закричала: «Знаешь, как называется женская пися?» — «Нет». — «Точилка для карандашей!» Я, растерявшись: «А мужская?» — «Карандаш, ну как ты не понимаешь!» Две невинные души, Вера и маленькая Катя, сдваиваются в моем сознании, омраченном склерозом.

14 февраля (Валентинов день) мы с Шавой, нам только дай повод, помянули рюмкой водки моего неправедно-

го отца. Ровно шестьдесят четыре года как он ушел. Блокадник-дистроик, сердечник, оробелый голый русский раб под сталинским солнцем, он вылупился не в то время и не в том месте. В Лондоне, да хоть в старой России, у него были бы все шансы — при его работоспособности и чутье на литературу — стать удачливым издателем. С заслуживающими снисхождения грехами. Грехи кует место. И век. Но налево он, мой отец, ходил бы в любом веке.

А в марте, только мы с Шавой наладились, как все последние годы, удрать из Берлина во Францию, нам спутал карты набравший силу COVID-19. Не сразу осознав масштаб зла, мы корчим друг другу рожи. Мы заперты вирусом в четырех стенах. Поняв наконец, что в этом году уже никуда не поедем (а в следующем будут ли силы и, главное, охота), я решил странствовать иначе. Похерив толковый наказ: не оглядывайся, жена Лота.

Мы много видели. На нашем веку исчезли бюстгальтер на пуговках, капроновые чулки и пояс с подвязками. Сигаретам приделан фильтр. Презерватив можно подобрать в цвет глаз любимой. Родились и умерли слова ДДТ (порoshok) и КПСС. Нет больше круглых железных очков с дужками, которые надо было заводить за ухо. Мы, как при Петре Первом, сморкались в квадратную тряпку, стирали ее, опять сморкались, теперь перелески засеяны бумажными платками. Юбку выжили джинсы. Мы больше не подносим запястье к уху: часы разучились тикаТЬ. Куда-то делись клопы. Телефон перекочевал со стола в карман. Клубнику продают круглый год. Мир немыслим без интернета.

Сорок два года тому назад я облокотился на стойку, за которой мадам Беттина заполняла бумаги в круге света под лампой.

Перо пачкало.

— Дрек мит пфеффер! — выругалась мадам.

Американский фонд, как нам уже втолковали опытные люди, тертые калачи, проплатил ей оптом постой путеше-

ственников. По скольку-то на рыло. Всех безумно волновало, по скольку именно на рыло.

В тот весенний ветреный день нас, толпу бездомных погорельцев, свалившихся в Вену, доставили на автобусе из аэропорта в город и высадили в огороженном дворе, предложив не высовывать носа. Считалось, мы можем представиться лакомым кусочком арабским террористам. Когда самолет взлетал в Москве, мартовское солнце выстрелило в иллюминатор, и радостный блик этот продолжал биться во мне, смотрел ли я теперь за ворота вглубь австрийской улицы или упирался взглядом в нагое пока дерево посреди двора. Я умилялся дереву, оно росло в свободном мире. Я был переполнен умилиением. Свобода — понятие относительное. Сегодня я бы выражался не так торжественно. Скажем: росло в мире, куда выбили Бродского из питерской колоды. Повторяю, больше сорока лет прошло с того великолепного победительного утра в Вене.

Во дворе митинговал взъерошенный десант нетитульной нации. Нет, вы послушайте меня! Время от времени от двери кого-то выкликали. С крыши с интересом заглядывали вниз западные галки. Я не стал дожидаться вызова и вступил в офис мадам Беттины.

— Дрек вижу, а где же пфеффер? — негромко сказал я теперь. Не кому-то конкретно сказал, в воздух.

Мадам подняла голову.

— Что ви хотеть?

— Хорошую комнату в хорошем месте, — отчеканил я.

Мадам цепко оглядела меня и снова уткнулась в бумаги, но через полчаса ее помощник уже вез меня с семьей в свое «вольво» в отель «Адмирал» за спиной дворца Марии-Терезии. Про мадам Беттину говорили, что у нее глаз-ватерпас, отель был полкой для интеллигентов, сюда же поместили московскую парикмахершу, владелицу лисьей шубы до пят, которую мадам хотела сторговать. Не подпавший под таможенный запрет зверь назначен был превратить волшебным образом никудышный рубль в твердую валюту.

Нам выдали суточные — купить продукты.

— Только Америчка, никаких Израилей! — воскликала парикмахерша Дора.

Рудик, щуплый муж Доры, надел в эмиграцию тяжелое ратиновое пальто, его и внукам было не сносить. Не смейтесь! В моем багаже нашлось место коробке с нарубленными тяп-ляп отечественными гвоздями, молотку, в меру ржавой ножовке. Непроглядным туманом стояло будущее перед дикарями, только что перелезшими через стену. Эти дикари — мы. Попутчики мои, удалась ли вам вторая жизнь, ау!

На нью-йоркской улице ко мне подошла красивая девушка. *Do you have the time?* Ого, я нравлюсь девушкам! Вот прямо так: у вас есть время? Во мне взбурлила кровь. Я залыбался и горячо сказал: «Конечно». Девушка нетерпеливо тряхнула головой и постучала по запястью. Оказалось, ее интересовало, который час. Впрочем, я ободрился, когда день спустя негр, знакомясь перед киоском с фастфудом, сунул мне руку: *take five* (держи петушка). Американские дела, в доброй старой Англии такого не услышишь.

В Нью-Йорке я заглядывал под каждый камень. Чтобы город стал своим, его нужно знать. С утра, как впustят, тарашься, к примеру, на бронзовую козу Пикассо в саду МоМА. Облюбованный мною стеклянный проходняк через бамбуковую рощу в цокольном этаже небоскреба — я бегу в Кембридж-скул, где зубрю американские идиомы в хоре взрослых людей со всех концов света. На ходу проверяю автоматы с *NYT*, иногда автомат может выдать хорошему человеку газету без четвертаков.

Покончив с идиомами, нажимаю поперек острова, а потом вдоль (квартал — минута, если бы не светофоры на углах), чтобы не опоздать в аукционный дом «Сотбис», тут за гонорар я консультирую консультанта по русскому авангарду. Сегодня мы толкуем об открытках А. Крученых, «ничевоках» и постфутуристах в Тифлисе. Заскочу-ка в магазин Армии спасения, так легла дорога, мне необходим

костюм, у меня его сроду не было, здесь же можно купить за смешные деньги дорогую пару плюс жилетку, раз-другой надеванные, а винное пятно выведем.

Костюма на меня нет, я ныряю в грохочущую подземку, мне нужно в Сохо, но я делаю изрядный крюк через Чайна-таун, в окнах забегаловок подвешены за шеи лакированные жареные утки, тут у меня знакомый китаец, он тоже ходит в Кембридж-скул, но его давно не было, а я задолжал ему сорок долларов. Из Сохо делаю рывок в фирму «Баукер», пока не ушел мистер Инк, у него короткий рабочий день. Он выносит три папки и ящичек с чистыми карточками, поздно вечером я займусь каталогизацией периодики на славянских языках (\$4,5 в час).

Еще три-четыре мелких дела. Аптека. Надо разобраться с зубными щетками, из старой полезла щетина, но щеток этих в аптеке добрая дюжина, все разные, бесценных полчаса я вникаю. Здание *Exxon*. Моя карта Нью-Йорка разошлась на сгибах, в *Exxon* бесплатно дадут другую, карта призвана стреножить хаос великого города. Каждодневно деля город на части, я заталкиваю топографию в голову. Голова отбивается. Где мои семнадцать лет? Мне еще хватает сил добраться до Эмпайр-стейт-билдинга и в который раз подняться в скоростном лифте на смотровую площадку. Теперь внизу лежит трехмерная карта — со столбами домов, с тенями от них, с движущимися буквашками-автомобилями. Вертолетные площадки на крышах. Я вбираю, всасываю, вдыхаю, впитываю Нью-Йорк, сам себе завидую.

Вверх по Пятой авеню бреду, свесив набок язык, задираю голову к высоткам, уже зажегшим окна. Один небоскреб не похож на другой. Ирландец торгует с тележки хот-догами. Пригоревшая сарделька чадит на полквартала. Сейчас поезд подземки увлечет меня в Куинс.

Все, что не успел, перекладываю на следующий день. Колумбийский университет — профессор-славистка, в детстве кошка выкусила ей полщеки, пытается внештатно при-

слонить к факультету меня или Светлану в качестве свежих носителей языка. Коллекциюсталелитейного магната с ухоженной бородкой Генри Фрика на Пятой авеню — здесь я готов на времязабыть про время, стоя перед Тёрнером или портретами работы Уистлера. Оставляю на завтра и нью-йоркскую публичку, я предложил им свои услуги и уже продемонстрировал умениенарастить любую бумагу при реставрации, они одобрительно цокали. Я еще не знаю, что они потребуют диплом местного гуманитарного вуза, московский не годится. Вокруг здания кучкуются уличные наркоторговцы. Чтобы записаться в библиотеку, нужно назвать имя и адрес, не предъявив никакого документа. На мой скепсис, взращенный отечеством: «А если я совру?» негр-служащий выпучил глаза: «Зачем?»

Волоча ноги, отклоняюсь от маршрута, чтобы подивиться на витрину магазина, открытого знаменитым кино-продюсером Дино Де Лаурентисом. Или магазин стартовал годом позже? Я теперь путаю даты. Раздвинув кулисы из свисающих салями, подвязанный проволокой гигантский краб шагает как марсианин из «Войны миров» через кремнёвые сколы пармезана, фаршированные артишоки, копченые грудки куропаток, шары моцареллы, открытыепирожки со спаржей. На блюде декорированныйгроздьями винограда покоится румяный поросенок, вокруг водят хоровод вздыбленные печенные лангусты и лангустины. Никакихмуляжей, все из кухни. Я временно получаю *фудстемпы*, продуктывеселые талоны для малоимущих, но тут надо мной только посмеются. В поручень витрины уперся брюхом патрульный-итальянец в форме, с пистолетом в кобуре. Он богач, если сравнить со мной, но не с его зарплатой делать у ДДЛ закупки к обеду. Роняя слюнки, мы переглядываемся.

Посетовав в коротком письме, посланном соказией, на плотность графика («не успеваю, сев, толком подумать и протереть очки, запотевшие от восторга»), я получил отлуп из Москвы, сейчас он мне кажется справедливым,

а тогда таким не показался, от Феликса, по-домашнему «бороды», моего старого проверенного друга. «Мы с Надькой порознь и независимо, как Ползунов и Уатт, хотя спим неукоснительно вместе, видели тебя, Митька, во сне. Вставлю тут тебе на рупь сорок. Ты так занят? Легко могу представить, папаня, что ты срешь на ходу, как лошадь. Но сделай одолжение, пиши все-таки почаше, поподробнее, не развалившись, голуба. Так будет честно. Задние тоже хотят знать». Вслед за мной Феликс примеривался к Западу.

Памятен мне и визит к нью-йоркским троцкистам. Их особняк (стальная дверь, окна забраны толстой решеткой) стоял на отшибе возле заброшенных пирсов на Гудзоне. В шаговой доступности от клокотания цивилизации в Нижнем Манхэттене.

В последний день Рождества 1979-го я утопил кнопку звонка сбоку двери и, подвергшись осмотру в пуленепробиваемое плексигласовое окошечко, был впущен в дом. К троцкистам, в Америке родившимся и не получавшим подпитки из СССР, как получали эту подпитку американские евреи, я попал по рекомендации владельца книжного магазина, глухого старика-эсера Мартынова. Он не сумел когда-то убить Ленина, опоздав с револьвером в кармане на нужное место, зато переиздал для стареющих читателей «Нового русского слова» Елену Молоховец. Шава и посейчас пользуется этим репринтом в крепком коленкоровом переплете. У троцкистов я думал разжиться трудами Троцкого, которых мне, книжнику, в Союзе даже не довелось подержать в руках. Покаюсь вперед, неуместно новенькие, пахнувшие типографской краской сборники я сбыл кому-то в азартном обмене, не потрудившись открыть.

Троцкистов было человек десять. Худые мужчины и некрасивые женщины без возраста сгрудились в центре помещения с канцелярскими столами. На столах — лампы под зеленым козырьком. Библиотечная комната, надо полагать. Один плескал из бутылки в подставленные стаканы, силь-

но припозднившись, в моем понимании, против остального мира — Рождество кончалось. У троцкистов светились лица. Их разбирал счастливый смех. Перебивая друг друга, они обрушили на меня свою буйную радость:

— Заравствуйте, товарищ! Поздравляем! Какое событие!

— И вас с Рождеством! — неуверенно ответил я.

Они не услышали.

— Вы уже знаете, да? Вчера! Нет, это замечательно. Свершилось! — Тут я заметил у стены красное знамя. Как в пионерском уголке в школе. — Теперь все подтверждается. Советские войска вступили в Афганистан. Грандиозный эксперимент! Феодальное государство, минуя капитализм, сразу окажется в социализме. Сколько Лев Давидович об этом говорил!

Нет, стрелки в офисных часах на стене дергались не для них. Мухами в янтаре — вот кем они были. И это тоже был Нью-Йорк.

В Риме новых эмигрантов, нацелившихся в Штаты, усаживали заполнять сложные анкеты. Не скажу, чтобы сложнее, чем в отчим крае. При моем втором посещении американского посольства быстроглазый сотрудник сказал:

— Вы знаете Советский Союз, много видели. Ну, понимаете, народное хозяйство, военные объекты. С вами хочет встретиться один человек. Вы не будете возражать?

Днем фонарь не нужен. Спецслужбы похожи как близнецы. К Софье Власьевне я мог питать стойкую неприязнь, но предложение было с душком. Возражаю!.. Только вот: американская виза. Кругом Европа. Ни одного знакомого. Я без языка. В съемной квартире ждет семья. Без визы мне ну никак. Что я знал тогда про Запад, допускал, могут отказать. В отместку. Как достойно выйти из положения?

Я вспомнил Машку. «Так и так твою мать!» — рявкнул пьяный, наткнувшись в тесном ему тротуарном пространстве на мою матушку. «Нет, *твою!*» — беспрепетно отбила выпад Машка. Интеллигентная, как тогда говорили, дама в берети-

ке. Пьяный отпрянул. Я цеплялся за Машкину руку и был тому малолетний свидетель. (Потом, не обойдя радостным вниманием новое слово, я разыгрывал эту сцену во дворе.) Соблазнительно думать, что теперь гены указали мне путь.

— Если б вы знали, как *мне* хочется увидеть вашего человека. Не хочется, — с напором сказал я, — нужно! — Помолчал, откашлялся. (Быстроглазый напрягся.) — Когда может состояться встреча? Он... У меня к нему сто вопросов! — Меня прорвало. Я жестикулировал. Но и пережать нельзя. Запишут психом. — Нет, тысяча! Разведка, героический ореол. Я с детства!..

Быстроглазый замкнулся, а ведь только что улыбался. Больше мне никто ничего не предлагал.

Этой нормы я придерживался при вождении автомобиля. Впервые сев за руль в Нью-Йорке, обнаружил себя в крайнем левом ряду. Практики с гулькин нос. В машине один. Без подсказок. Задние нервно гудят. Автомобили справа идут плотно, без интервалов. Как перестроиться — не знаю, мне бы в своем ряду удержаться. Замигал аварийкой, дескать, мотор барахлит. Клаксоны сзади взорвались. Как свернул с Куинс-бульвара, как добрался до дома, не помню. Рубашка — хоть выжми. Я был испуган, унижен и оскорблен. Через три месяца я вернулся на скоростную дорожку и больше с нее не слезал.

Первая моя машина была битая, с вдавленным ржавым боком, зато мне по карману. Не знаю, как сейчас, тогда в Нью-Йорке на это не обращали внимания. В автомобильной толпе ходил зигзагом. Водителю такой машины терять нечего, на Манхэттене я мог подрезать разбойника-таксиста. Не мне, а меня следовало опасаться. Тем, кто садился со мной, втолковывал: «Езда опасна. Сама по себе. Чем скорее мы доберемся куда нужно, тем короче риск. Зачем тянуть?» Так я ездил тридцать четыре года.

Для начала сверху вниз и от побережья до побережья перекрестил Америку, потом зашнуровал сапожок Италии

и был заворожен автобанами в ФРГ, где не ограничивали скорость. Сколько из мотора выжмешь — все твое. Шата подтвердит, я не трогал на автобане тормозную педаль, а если чувствовал впереди неладное, давил на газ и обходил угрозу по дорожному плечу, производя расчет в сантиметрах. То есть не я производил, а черт, который сидел во мне. Однажды я так оставил за спиной два столкнувшихся автомобиля, в которые, визжа шинами, с хрустом втыкались идущие сзади. На старом железном гремящем мосту Костюшко в Нью-Йорке у меня лопнула задняя покрышка, машину закрутило волчком, я уцелел только потому, что далеко опередил поток.

Нет, я не чурался радостей жизни. Приняв с Артемом на грудь, утром не мог вспомнить, где запарковался. На моей приверженности к скорости алкоголь не сказывался. Отлетели по хайвею 495 от ресторана в Бруклине миль на пятнадцать, Артем говорит: «Митенька, я забыл на столике очки. Тебе как бешеной собаке все равно куда бежать. Давай вернемся». Первое время Артем, земля ему пухом, вжимался в угол переднего сиденья, потом поверил в меня и обнаглел. Когда сейчас в памяти мелькает калейдоскоп дорожных ситуаций, я холодею. Пугаюсь задним числом. Ходил по проволоке. Чтобы я еще когда-нибудь!..

На шестой год пребывания в Америке я соскучился по расстановке слов на бумаге (дисплее) в русском предложении. Поступил на Радио Свобода. И застрял тут. Без малого на двадцать три года.

Новостной отдел в Мюнхене дымился двадцать четыре часа в сутки. В обоих смыслах дымился, тогда еще можно было курить в помещениях, везде стояли пепельницы. Выпечка новостей, «хлеба демократии», напоминала игру в детский конструктор. Ты выхватил из коробки нужный кубик-слово, никакой отсебятины, кубиков не больше трех-четырех сотен, рядом шлепнул другой, проложил сухим эпитетом, скрепил глаголом из коробки, вставил разъясняющее дополнение. Заметьте, всякий раз это был перевод

с английского. Проверил. Свел к минимуму, выщелкнув лишние кубики. Спасибо компьютеру, он уже столкнул пишущую машинку с рабочего стола, радиостанция выступала в первых рядах прогресса. В эфире счет идет на секунды. Быстро и время, отведенное на написание. Ты должен освежить выпуск к началу часа. Выход в эфир наступает немедленно. Успел? Успел!..

Алексей Собченко с Димой Добродеевым впопыхах слепили, один писал, другой редактировал, про затонувший паром «Эстония», что в штормовом море у него открылась «течка». Не приходя в сознание, всю ночь пускали новость в эфир. Утром валили друг на друга. Добродеев и без Собченко был мастак смутить слушателя: «Члены парламентской ассамблеи подвергли критике свой исполнительный орган за чрезмерно мягкую позицию». Ох, Ди-ма! По долгу службы мне досталось собирать перлы в папочку. Для остротки. Но это уже в Праге, куда перевели радиостанцию из Мюнхена. Еще один гусь, в прошлом переводчик технической литературы: «В условиях секретности американские хирурги реконструировали королю Хусейну одну из его барабанных перепонок». А в новости старика Полищука дирижер был вынужден отказаться от «традиционного использования рук», Фрейд счастлив. (Дирижера разбил паралич за пультом.)

Не избежал конфуз и я.

Дело было в Вашингтоне, на заре моей службы. В последний момент поступило срочное сообщение, что академик Сахаров вернулся из Горького в Москву. Едва поставил точку, я влетел в радиобудку и перед уже включенным микрофоном отколол: «Говорит Москва» — в Москву же он прибыл! — вместо «Говорит Радио Свобода». Сам я ляп не заметил, сдал смену Мюнхену, отправив выпуск по факсу, и уехал на рождественские каникулы в Нью-Йорк. Но кто-то заметил. Проверили эфирную запись. Поднялся переполох. Саботаж, решил тогдашний директор Русской службы, быв-

ший офицер ВМС США Николас Васлев. Условный знак. Рука Кремля. Меня отстранили от работы. В Вашингтон из Мюнхена нагрянул разбираться замглавы корпорации Уильям Марш, куда уж выше. Кирпично-бурое лицо плантатора. Летом разгуливал по радиостанции в панаме и шортах, чуть не со стеком в руке. Меня вызвали на ковер. Я рассказал, как все случилось. У меня не было эфирного опыта.

— С парнем все окей! — урядил плантатор, стукнув по столу. — Парень промахнулся. Реприманд ему! Да не забыть через полгода реприманд снять и удалить из личного дела. Если исправится.

Я «исправился», но навсегда утратил веру в американские военно-морские силы.

Место руководителя Русской службы было заговоренным не хуже поста министра сельского хозяйства СССР. На третий раз, если считать от Васлева, директором поставили Юрия Гендлера. Он продержался дольше предшественников.

Дети в Америке быстро схватывают азы коммерции. Моя Катя набрела на беспрогрышную идею.

— В день я поймаю десять рыб, — рассуждала она, — три пойдут на обед: мне, тебе и маме, остальные я продам в рыбный магазин. А если двадцать...

— Зачем в рыбный? У них своей много. Неси сразу в обувной.

— Ты не понимаешь. Я сделаю им скидку. Мне нужна удочка. Не беспокойся, я верну деньги из первого улова. — Она испытующе посмотрела на меня. — Хочешь десять процентов? Пятнадцать!

Перед таким предложением я не смог устоять. Осталось выяснить про подходящую счастье. Гендлер был единственным знакомым мне рыболовом. Заядлым, кстати. Тогда он руководил нью-йоркским бюро. Я позвонил в Нью-Йорк. Юра страшно обрадовался.

— Где будете удить?

— На Потомаке.

Был разгар рабочего дня. Он держал меня на телефоне сорок минут. Объяснил, как подвязать грузило, какую наживку использовать, в какое время дня, как вываживать и подсекать. Параллельно я выступал на компьютере для Мюнхена репортаж о сандинистах.

Гендлер был обстоятельный человеком.

Как директор по-настоящему он развернулся в Праге.

Историк-журналист Володя Тольц жаловался: Гендлер начал пересказывать ему «Войну и мир».

— Юра, я читал.

— Нет, ты слушай!

Утром на летучке мучимый похмельем Гендлер решил поделиться своей любовью к новому президенту нашей радиокорпорации. Мой прямой патрон — курчавая голова, глаза утром налиты кровью — отбыл срок за инакомыслие. Гнал на дому самогон. Копировал тамиздат. Юрисконсульт на фабрике мягкой мебели, он пошел навстречу следствию и во всем признался. После лагеря его выпустили из страны. Метаморфозы эмиграции: в Америке Юра сделался убежденным монархистом, а его главной слабостью стало американское начальство. Сейчас у него выходило, что чиновник, назначенный Вашингтоном, является собой нечеловеческой проницательности менеджера, это раз. Глубокого собеседника, два. Если не Бога, так его архангела в журналистике, три. Гендлер все круче забирал в верхние слои атмосферы. У него светились уши.

Улучив момент, я вставил:

— А правду говорят, он карлик?

Летучка обмерла. Потом радостно засмеялась. Гендлер побагровел и с минуту не мог ничего сказать, только топтал ногами.

В Вашингтоне, где после Нью-Йорка я прожил четыре года до переезда в Мюнхен, отец Виктор пустил меня в церковную библиотеку покопаться в старых книгах. В качестве ответной любезности я вызвался помочь освободить ин-

терьер церкви — священник готовился к побелке. Стулья были складные, мы легко носили их по три, нанизав дугами спинок на руку. Настала очередь дубовых скамей. Взмокнув, мы забили подсобное помещение до потолка. В церковном кубе остался распятый Христос в набедренной повязке. В натуральную величину.

— Сразу не унесем, — предупредил отец Виктор, поддернув брюки и утираясь рукавом фуфайки, рясу он давно скинула.

Он был на семь лет моложе меня. На счет раз-два мы выдернули крест с Христом из Голгофы. Испытывая неловкость, я удерживал желто-розовое тело за мелкий выем между ребрами, подтекший красным. Христос пах пылью. Откуда-то на пол выпал засохший жук. Перед дверным проемом отец Виктор скомандовал:

— Нагнули Спасителя! Еще!

Отдельно перекантовав Голгофу, мы сели в трапезной пить растворимый кофе. Воду вскипятили в электрическом самоваре. Попадья Маша поставила на стол домашнее печенье. Мы обсудили нефтяной кризис. Арабы на Ближнем Востоке стали залупаться. В этот день на бензоколонках отоваривали только нечетные номера.

Я сказал:

— У меня четный. Я вчера залил бак.

— Так вы собираетесь все-таки крестить дочку? — спросила Маша.

— Она не хочет.

— А вы?

— При чем тут мы. Ей решать.

Маша осуждающе покачала головой.

— Бензин, — тактично встрял отец Виктор. — С бензином все будет в порядке. Потому что...

— Ох, Ближний Восток, — зевнула Маша, мелко поклонив ладошкой рот.

— Матушка, там принял крестные муки Сын Божий!

— В Святой Земле нету нефти, батюшка.

Я был благодарен отцу Виктору за нечаянное и столь близкое знакомство с главной фигурой европейской культуры. Пальцы запомнили грубую метку, оставленную копьем римского солдата. Тактильный контакт с героем Нового Завета впечатлил меня. Такое не всякий день случается.

Не знаю, куда приткнуть эту вот цветную картинку. Конец мая, вторник (рыночный день на Пройссеналлее). Наша гостиная в Берлине. Везде стоят свежие цветы в вазах, стекло и вода преломляют стебли. В эркерке на обеденном столе, покрытом скатертью, распустились темно-бордовые, почти черные пионы, каждый размером с десертную тарелку; душистый горошек воткнут в пивную кружку, в букетике перемешались два нежнейших цвета — розовый и светло-сиреневый; за букетиком торчат стрелы благородных полуночно-синих ирисов. На круглом столике карельской березы раскинулась ворованная персидская сирень. Винно-красные гладиолусы на камине, букет удвоен над каминным зеркалом. Рядом с телевизором — ярко-синие брызги дельфиниума. На верху секретера под ангелом, который держит циферблат с давно остановившимися стрелками, рдеет другой горошек. Когда пересекаешь комнату, запахи стреляют из углов.

В окне колеблется кленовая ветвь, обремененная гроздьями восковых носиков, в кухонное окно заглядывают свечки конского каштана. За стеклянными дверями на террасу в побеге декоративного винограда роется синичка. Там для нее висит питательный шарик: жир, зерна, орехи. Ухоженная терраса — дело рук Шавы. Станет жарко — выставим полотняные паруса маркиз.

За террасой кипит сад. Листья на деревьях по-весеннему свежие. С каждым днем они укрупняются. Липа до небес, наша королева, три клена, сосна, береза с мелким ельником, дуб, еще сосна. На отлете — красный бук. В траву под деревьями просыпались солнечные пятна. Вот уж не думал,

что в нашем возрасте может нечаянно захватить дух от счастья. Просто так. На ровном месте. Без всякого повода. Тайный знак, что жизнь прекрасна.

К концу недели ирисы в гостиной скучожатся, букет сирени пробьет ржавчина, гладиолусы переломятся, пионы осыпятся. Я держу распаяленный мешок для мусора, Шава скорбно, у нее тонкая душевная организация, сбрасывает в него трупы, я выношу мешок на помойку. И говорю Шаве, что во вторник куплю на рынке новые. Шава говорит: жалко, у пионов был редкий цвет. Я говорю: не распускайся, держи себя в руках! Мы не зеваем, когда представляется случай подколоть друг друга. Но знаем, когда остановиться. Мы — самые близкие, ближе не бывает, друзья.